

Александр КАЗАКОВ

г. Псков

НЕ
НЕ
BE
BE
ЗУ
ЗУ
ХА
ХА



рассказ

Гоше Чудакову в жизни не везло. Правда, так только он считал; все же прочие жители небольшого райцентра, в котором с момента рождения и почти всю свою сознательную жизнь прожил Гоша, были просто убеждены в том, что он, как в народе говорят, родился в рубашке, а во всех своих жизненных неудачах виноват исключительно сам.

И то сказать: из Афганистана Гоша вернулся живой и невредимый, без единой царапины, — хотя, по его рассказам, иногда в такие передраги попадал, что куда там героям киношных боевиков! Может, Гоша, конечно, и привирал, — что при его говорливости, особенно когда он лишку выпьет, и неудивительно, — но, с другой стороны, все по телевизору видели, и не раз, что там творилось... Да и две медали — «За отвагу» и «За боевые заслуги» — никто ему, Гоше, за просто так, за красивые глаза, на грудь не повесил бы.

Или взять, к примеру, случай, когда Гоша на своём «Запорожце» прямо с моста, метров эдак с восьми, в реку нырнул. Лёд, правду сказать, тогда, в начале декабря, ещё слабый был, так что машина его пробила запросто. Пробила — да тут же под воду и ушла, поскольку стёкла в её дверях Го-

ша, несмотря на мороз, зачем-то опустил; наверно, побыстрее протрезвиться таким образом хотел, на сквознячок-то, а может, и по какой другой причине. Да разве у пьяного спросишь?

Ну, как только машина под воду ушла — тут и началось! Бабы, кто трюк этот Гошин видел, завизжали, закричали: дескать, люди добрые, спасайте — Гошка тонет! А заодно и судачить принялись: и что ж это, мол, за зима такая проклятая выдалась? То возле Сокольского рыбака какой-то приезжий в озере утонул, то где-то возле Быковки машина с мужиками, что тоже на рыбалку приехали, под лёд провалилась... Мужики-то, правда, выплыли, а машина-то — того; тю-тю, словом; и как они её доставать будут? А теперь — гляньте, люди добрые! — и Гоша туда же!

Но пока народ к мосту сбегался да к полынье, что в том месте, где «Запорожец» под лёд ушёл, с опаской подбирался (а как без опаски, если Гоша аккуратно посреди реки умудрился угодить?), минут, наверное, пять прошло. Думали, всё — каюк Гоше: кто ж столько под водой без воздуха выдержит? И только было мужики, кто посмелее, к полынье подобрались, как Гоша и вынырнул: открытым ртом воздух хватает, хрипит, а глазами

своими вытарашенными на людей уставился — да ещё удивлённо так: дескать, чего это вы тут собрались-то? По какому такому поводу? Случилось чего, али как?

Мужики ему: плыви, мол, сюда, придурок! Поможем, мол, на лёд вылезти... А Гоша головой мотает и хрипит: не-е, дескать, не могу! У меня там, в машине, бутылка осталась... И вроде как опять нырнуть норовит. А глубина там, на середине реки, метра три, если не больше. Мужики на Гошу — матюгами: ты что, мол, совсем сбрендил?! Хорошо ещё, что Васька Слепнёв к тому времени багор с пожарного щита, что у самого берега, на спортивной школе висел, успел притащить. Ну, мужики тем багром Гошу за мокрую телогрейку и зацепили. И на лёд выволокли да ещё и пендалей едва не надавали. А то бы он, как пить дать, за бутылкой нырнул...

А в другой год, тоже где-то в начале зимы, Гоша подрядился крышу на школе-интернате шифером крыть. Здание школы — старое, сразу после войны построенное, и хотя и всего-то двухэтажное, но высокое, так что от края крыши до земли-матушки путь неблизкий. Как уж там Гоша, который, как обычно, для храбрости слегка «на грудь» принял, на крыше оскользнулся, непонятно, однако он сначала от самого «конька» до края крыши на заднем месте проехал, а потом и в свободный полёт плавно перешёл. Как лыжник с трамплина. Но и тут Гоше повезло: как раз в том месте, куда он приземлиться должен был, дня за три до этого уголь разгрузили — поближе к котельной. Кучу эту за ночь слегка снежком припрошило; кто не знал, что это уголь, точно бы подумал — сугроб. Ну, и Гоша, видно, так думал, пока вниз планировал, матерясь на весь Медянский. А это и не сугроб вовсе оказался...

Но и тут Гоше повезло: приземлился он всё равно удачно — ни единой царапины! Хотя нет; царапины всё же были: руки Гоша об уголь немного ободрал. Но и всего лишь: ни ушибов тебе, ни переломов. Руки, ноги, рёбра — всё целым осталось!

А он после всех этих своих приключений — опять своё: вот, дескать, невезуха! Ну что ты будешь делать?!

Вот дурак-то...

— Ты б женился, сынок, что ль... — жалостливо

глядя на сына, вздыхала Гошина мать, Зинаида Петровна. — Глядишь, и ума бы поднабрался. Может, и невезуха бы твоя кончилась...

Гоша в ответ только хмурился, но матери не перечил: он ей сроду не перечил — ни в детстве, ни когда уже взрослым мужиком стал. Даже когда крепко выпивши бывал, и то слова поперёк матери не осмеливался говорить: один он у неё был, единственный, и она у него — одна...

И, видно, правду в народе говорят: капля камень точит. Вот так и Зинаида Петровна: капала, капала Гоше на мозги — до тех пор, пока он и сам не стал над этим делом — женитьбой то есть — задумываться.

И вправду, что он — хуже других, что ли? Вон все его ровесники уже давным-давно переженились, а кое у кого из самых ушлых, что сразу после армии, и не погуляв как следует, хомут на шею надели, уже и внуки народились. Витька Иванов, например, бывший Гошин одноклассник: идёт на днях по улице с коляской, а морда от удовольствия сияет, что твой самовар! Будто кто ему задаром стакан налил... Гоша было удивился: вроде бы и не видел он, чтобы Светка, жена Витькина, беременная ходила, хотя и живут они на одной улице. Да вроде и поздновато как-то, в сорок-то лет, бабе рожать. Или это он, Гоша, просто спьяну не замечал ничего — про Светку-то?

А это, оказывается, Витька с внучкой променад по главной улице устраивает. Дедом стал — и радуется! Вот, понимаешь, дед — в сорок лет...

Гоша за приятеля, конечно, порадовался — искренне порадовался, от души. А как только разошлись они в разные стороны — Витька — в центр посёлка, чтобы внучкой похвастаться, а он, Гоша — домой, — вдруг загрустил. Да что там загрустил — затосковал, как старый одинокий волк в зимнем лесу; и не от зависти к Витьке (Гоша, к слову сказать, вообще никому не завидовал — просто не умел он людям завидовать, и всё тут! Такая вот натура у него интересная, у Гоши Чудакова), а от жалости к себе затосковал: вот, мол, живут же люди! Вот и детей вырастили, и внуков уже дождались. Только он, Гоша, болтается по посёлку, как... георгин в проруби. И никому-то, кроме матери, он не нужен...

— Эх, невезуха! — вздохнул Гоша, после чего совсем расстроился и, понунив голову, пошёл домой. Но — через магазин: надо же чем-то

грусть-печаль залить! Тем более что получку сегодня получил, которую два месяца в их шараге не выдавали, и потому — немаленькую; а завтра так и так выходной...

А в магазине — продавщица какая-то новенькая; поначалу Гоша на неё так, мельком, глянул — и тут же на полку с бутылками устался. Но пока пошло себе выбирал да пока в очереди за ним стоял, на продавщицу ту почему-то исподтишка поглядывать стал; вроде бы и не было у Гоши причин на неё смотреть, но глаза его будто сами по себе в её сторону поворачиваться стали. Гоша их от продавщицы отведёт, а они, помимо его воли, снова — зырк за прилавок! Ну что ты будешь делать?!

В общем, взял Гоша бутылку и пошёл домой; пришёл, бутылку на стол поставил, руки вымыл, а заодно и физиономию свою небритую после работы ополоснул — и уселся за стол. Взаялся было за бутылку, стакан поближе к себе пододвинул, но пить ему почему-то вдруг расхотелось. Ну, не то чтобы совсем расхотелось, а так — временно: да и куда она теперь от него денется, выпивка-то?

Посидел Гоша, поёрзал по табуретке, а потом вдруг встал — и ну из угла в угол по комнате шастать! Будто шило ему кто-то в то место, которым он только что на табуретке сидел, воткнул — только что пятернёй своей по нему не скребёт. А вот на душе...

А вот на душе у Гоши отчего-то вдруг заскребло: то ли встреча с Витькой так на него подействовала, то ли размышления Гошины о своём одиночестве, этой встречей вызванные... А может, другое что-то? Или — кто-то? Уж не продавщица ли эта новенькая?

«Да на что там смотреть-то? — с недоумением думал Гоша, вспоминая продавщицу. — Ни кожи, как говорится, ни рожи... Маленькая, белобрысая. И нос, кажись, курносый...»

Уселся Гоша опять на табуретку, посидел, глядя то на непечатую бутылку, то на пустой стакан, и решил закурить. Достал из кармана мятую пачку «Примы», а там — пусто. В другой какой раз он, конечно, выматерился бы как следует и обязательно бы вздохнул: вот, дескать, невезуха! А тут вдруг обрадовался.

— А схожу-ка я за куревом! — сказал он и встал из-за стола.

Встал, мельком глянул на себя в зеркало, что над комодом висело, и остановился; постоял, посмотрел на свою небритую физиономию, на торчащие в разные стороны спутанные, с заметной проседью чёрные волосы, крякнул досадливо и пошёл к умывальнику...

А ещё минут через двадцать, кое-как выбритый станком с тупым лезвием («Вот заодно и лезвий куплю!» — думал Гоша, собираясь в магазин), но зато на километр вокруг себя благоухающий одеколоном, Гоша, принарядившись по такому случаю в почти новые джинсы и рыжую вельветовую рубашу в мелкий рубчик, бродил, поскрипывая до зеркального блеска надраенными гуталином туфлями, по, как назло, пустому в этот час залу магазина, при этом бессмысленно-сосредоточенным взглядом рассматривая набитые всякой всячиной — от колготок и зубной пасты до лопат и гвоздей — прилавки и стеллажи и исподволь бросая осторожные взгляды на продавщицу, которая от нечего делать читала какую-то книжку в яркой обложке.

Продавщица была одна: по двое продавцы в этом магазине, насколько помнил Гоша, сроду не работали — тут, бывает, и одному-то часами делать нечего, особенно в то время, когда народ на работе.

«Ей, поди, лет тридцать, не меньше... — поглядывая на продавщицу, думал Гоша. — Или тридцать пять. Стало быть, моложе меня она лет на пять. Или на десять... И куда лезу?! Тоже мне — жених! Конь в пальто!»

Окончательно отчаявшись, он уж было засобирился уходить — даже и про сигареты забыл, и про лезвия для бритвы! — как вдруг продавщица подняла на него глаза и спросила, смешно рассыпая по пустому залу магазина горошинки картавинок:

— Что, Георгий Фёдорыч, глаза разбегаются? Не знаешь, что взять?

Услышал Гоша эти картавинки — и вздрогнул. И заулыбался во весь рот. Вздохнул с облегчением и пошёл к прилавку, удивлённо мотая головой.

— Ну, Нинка!.. Ну, ты даёшь! Во, блин!.. Как же это я тебя сразу-то не признал? Ну, дела-а!

— Так лет-то прошло — у-у! — усмехнулась Нинка — с горчинкой усмехнулась, не с радостью.

— Да-а... — протянул Гоша и затоптался на месте, не зная, как себя вести дальше. Спросил первое, что на ум пришло:

— Давно вернулась-то?

Нинка пожалала худенькими плечиками.

— Да с месяц уже... Пока осмотрелась да пока матери с огородом да по хозяйству помогала, то, сё... Вот видишь — на работу устроилась, первый день сегодня... А ты-то как? Всё, говорят, холостякуешь?

Гоша от такого вопроса совсем было застеснялся, но тут же взял себя в руки и захорохорился:

— А то! Рано мне жениться — не нагулялся ещё!

И игриво стрельнул глазами на Нинку.

— Это ты у нас скороспелка, после школы — да и замуж, — хохотнул он. — А мы — люди степенные, неторопливые; нам спешить некуда, успеем ещё хомут-то на шею натянуть!

И спросил — в упор, но как бы между прочим:

— А мужик-то твой куда устроился?

— Да я почём знаю? — снова невесело усмехнулась Нинка. — Он — там, во Владике, а я, как видишь — здесь...

Помолчала и тихо добавила:

— Дома...

— В каком Владике? — не понял Гоша.

— Во Владивостоке, — пояснила Нинка. — Это мы его там так называем: чего язык-то зазря выламывать?

Она поправила выбившуюся из-под белой «докторской» шапочки белобрысую чёлку и небрежно махнула рукой.

— Да и не муж он мне теперь: развелась я с ним...

И игриво посмотрела Гоше прямо в глаза.

У Гоши — то ли от этих Нинкиных слов, то ли от её откровенного взгляда — вдруг ёкнуло в груди, а на лбу выступила испарина, будто он из предбанника да сразу в парную шагнул.

«Вот-те на! — подумал он. — Знать, не сложилось у них... Ну, теперь, небось, проще будет!»

Но что будет проще, словами даже самому себе сказать Гоша не решился...

На том первый их с Нинкой разговор и закончился: в магазин, как назло, один за другим повалили покупатели, и Нинке стало не до Гоши.

Небрежно бросив на прилавок «пятидесятку», Гоша купил пачку «Мальборо» (хотя сигарет с

фильтром не курил вовсе: не накуривался он лёгким табаком, хоть ты три штуки подряд выкури — и всё тут!) и вышел из магазина. Постоял с минутой на крылечке, пытаясь заскорюзлыми, грубыми пальцами поймать тонюсенький хвостик целлофановой ленточки, опоясывающей красную пачку. Так и не сумев исполнить этот трюк, оглянулся по сторонам, поднёс пачку ко рту и, нащупав хвостик языком, сорвал тонкий прозрачный поясочек зубами.

— Понаделают всякой хрени, мать их так... — пробормотал он, выплёвывая прилипшую к губам целлофановую полоску. — То ли дело — «Прима»: раз — и всё...

В эту ночь Гоша долго не мог уснуть; впрочем, он не очень-то и пытался: лежал с открытыми глазами и напряжённо думал, как бы это ему ещё раз подкатиться к Нинке, да так, чтобы сразу, за один раз ей свои намерения и изложить. Ну что они — дети, что ли, в конце-то концов?! Он — холостой, она — разведённая: чего тут рассусоливать-то? Вон другие-то: глядишь, раз, два — и сошлись. И живут себе вместе. Ну, почешет народ языками неделю-другую, да и перестанет: подумаешь, невидаль — мужик с бабой вместе жить стали! Так ведь то и есть, что мужик с бабой, а не малолетки какие-нибудь! И чего в этом такого-то?!

Только как бы всё это... ну, это — вот о чём он думает сейчас... Нинке-то преподнести? Слова-то нужные — как найти? Эх, невезуха!

На следующий день, в субботу, Гоша поднялся рано и первым делом кинулся скоблить пластмассовым станком отросшую за ночь щетину. Лезвие в станке, само собой, со вчерашнего дня острее не стало, но Гоша, морщась и шипя от боли громче, чем закипавший на старой электрической плитке чайник, упрямо продолжал скоблить щёки и подбородок, при этом проклиная себя за то, что какое-то паршивое — вот дурак-то! — «Мальборо» купил, а лезвия — ну начисто из головы вылетело!

Народу в магазине было немного, однако у кассы, рассчитываясь за покупки, всё время кто-нибудь стоял. Нинка, увидев появившегося в дверях Гошу, улыбнулась ему и кивнула. И потом, пока Гоша в ожидании подходящего для разговора момента слонялся по залу, переходя от одного прилавка к другому, часто посматривала

в его сторону и, когда их взгляды встречались, снова улыбалась.

«Ну вот, может, и объяснять ничего не придётся, — думал Гоша, с замиранием сердца ловя Нинкины взгляды. — Чего тут объяснять-то? Не дура же она, в конце-то концов...»

«Может, в кино её пригласить?» — напряжённо думал он, вертя в руках взятое с прилавка топорыше. Но тут же эту мысль и отбросил: вот смеху-то будет — на весь Медянский! Вот скажут — жених с невестой в кино идут! Под ручку-то ни он Нинку, ни она его, конечно, не поведёт — не муж и жена. Вот если бы они мужем и женой были, тогда да, тогда — другое дело: иди хоть в обнимку — никто и внимания не обратит. А так, под ручку, у них в посёлке не принято. Ну и как идти — на пионерском расстоянии, что ли?!

Но Нинке ничего объяснять не пришлось: улычив момент, когда у кассы никого из покупателей не было, Нинка рукой поманила Гошу к себе и, наклонившись через прилавок, тихо — так, чтобы никто не услышал, — сказала:

— Приходи в гости, Георгий Фёдорович! Здесь нам с тобой всё одно поговорить не дадут. Приходи вечером...

И, как-то по-особенному улыбнувшись, добавила:

— Если, конечно, хочешь...

«Да хочу! Хочу!» — чуть не крикнул Гоша, однако сдержался и, сглотнув слюну, только хрипло спросил:

— Когда?

— Да сегодня и приходи, — улыбнулась Нинка. — Вот я в девять закрою... Ну, а ты часикам к десяти и приходи: посидим, чаю попьем... Дорогу-то помнишь?

— А то! — заулыбался Гоша. — Как не помнить...

В тот, первый раз, Гоша к Нинке прилёлся с бутылкой: ну не с цветами же ему через весь, почитай, посёлок было тащиться! Его, букет-то, в карман не спрячешь — не бутылка. Увидели б его с цветами — засмеяли бы, и ещё сто лет потом смешки за спиной слушать пришлось бы. А то и в глаза бы смеялись: ну что, мол, Гоша, — прикадрился? А бутылка — не букет: бутылку сунул в карман пиджака — её и не видно. Если, конечно, пиджак не застёгивать. А чего его застёгивать? Чай, лето на дворе, не зима...

Правда, как пришёл он тогда на свидание с бутылкой, так с ней и ушёл: Нинка, как водку увидела, так и помрачнела сразу — даже будто бы с лица спала. И глаза её синие почему-то как-то сразу потускнели.

Гоша было сначала ничего не понял, а когда понял, обозлился. Но не на Нинку, а на себя: нашёл, с чем на свидание к женщине идти, придурок! В общем, так он крепко обозлился, что, едва дойдя по пути домой до поселкового парка, взял да и жакнул ту бутылку со всего размаха о толстый ствол старой липы — метров с десяти запустил и не промазал. Это ночью-то! Только осколки брызнули...

И вдруг почему-то вспомнил, как приходилось ему и гранаты вот так же, в кромешной тьме, бросать, от «духов» ночью отбиваясь, — там, в Афгане...

В тот раз у Гоши с Нинкой ничего такого-эдакого не было; так, попили чаю, поговорили по душам — детство вспомнили, друзей-приятелей, учителей. Хотя и была между ними разница в шесть лет, а знакомых-то общих — вон, весь посёлок!

Ну, и про жизнь свою друг другу порассказали, что могли и что считали нужным. Гошина-то жизнь — что: вон она — вся как на ладони. Любого в посёлке про него спроси, так всё тебе про Гошу Чудакова расскажут, ничего не утаят. Да и от себя ещё приврёт — будь здоров! А вот про то, как у Нинки жизнь складывалась (да, как видно, не сложилась), Гоше узнать было интересно.

Нинка вернулась домой, на Новгородчину, с Дальнего Востока. Гоша даже название города, куда она с мужем после свадьбы уехала, сам вспомнил — ещё до того, как Нинка его произнесла — Спасск-Дальний; это ещё Мишка, Нинкин старший брат и лучший Гошин друг, как-то говорил — Царствие ему Небесное! Эх, вот и Мишки уж два года как нет... Да будь он проклят, Афган этот! И война эта тоже; вон как теперь про неё говорят: ошибка, мол, советского руководства. Хороша ошибка, мать их так: сколько ребят там полегло! Или, как Мишка, калеками вернулось... Да что теперь говорить!

А замуж Нинка выскочила, когда в Новгороде училась, в кооперативном техникуме, — за какого-то морячка выскочила, что в отпуск

оттуда, с Дальнего Востока, домой приезжал, когда ещё срочную служил. Перед самым дембелем приезжал: видно, неплохо будущий Нинкин муж служил, коль уж ему предложили на сверхсрочную остаться. Вот туда-то, в Спасск-Дальний, молодые сразу после свадьбы и укатили; Нинка даже техникум свой бросила, года до диплома не доучившись. Укатила она с мужем в такую-то даль и ни разу с той поры домой и не приезжала. Оказывается, муж-то её, как Нинка Гоше рассказала, только полгода на сверхсрочной и прослужил, а больше не выдержал: не те времена для армии и флота настали, чтобы там оставаться; офицеры — и те косяками шли рапорта подавать, а уж ему-то, мужу Нинкиному, и вовсе никакого резона оставаться на службе не было, с такой-то зарплатой да при новых на всё ценах. Вот и подался он в торговый флот, да, как видно, не очень-то удачно устроился, раз уж у Нинки за пятнадцать лет ни разу денег не нашлось, чтобы домой съездить, мать с братом навестить. А потом, по словам Нинки, муж её и вовсе без работы остался...

Вот и всё, что рассказала тогда Нинка Гоше про свою семейную жизнь и ничего другого к своему рассказу добавлять почему-то не стала. Гоша же тоже допытываться, что да как у Нинки с мужем дальше было, не стал: чего допытываться-то, если сама Нинка больше не желает на эту тему говорить? Может, просто тяжело ей всё это вспоминать, вот и всё. Ну, ничего: захочет — сама расскажет...

Так вот и проговорили они тогда, в первую свою встречу, тет-а-тет, почти полночи; а ничего другого промеж них в ту ночь больше и не было...

Ну, а потом как-то само по себе и без лишних слов всё у Гоши с Нинкой и сладилось. Гоша, правда, поначалу, перед самой первой своей близостью с Нинкой, в своих мужских силах особенно уверен не был: давно у него, кроме бутылки, других подруг не было. Да и трезвым Гоша в последние годы бывал, прямо сказать, нечасто; а кому, какой хоть немного уважающей себя или просто нормальной женщине такой ухажёр нужен, от которого за версту перегаром прёт? Однако всё у них с Нинкой получилось, как положено, как и должно было быть. А может, даже и

лучше, раз уж Нинка, когда Гоша вечером зашёл к ней в магазин, посмотрела на него из-за прилавка такими восторженными, такими сияющими глазами, что Гоше показалось, что в магазине вдруг прожектора зажглись. У Гоши же рот сам по себе вдруг растянулся до ушей, а грудь стала распирает такая гордость за самого себя, что ему даже дышать трудно стало.

И ещё открылось Гоше в этой его поздней — да поздней ли?! — любви нечто такое, о чём он раньше не только не подозревал, но даже и не догадывался, как не догадывался о том, что вот такая, наполненная светлыми и радостными чувствами, а не почти постоянным желанием нахрюкаться от безделья и покурлесить на виду у всех, жизнь и есть жизнь, которой и стоит, и надо жить. И никак иначе.

И всё лето Гоша, можно сказать, будто летал — и наяву будто бы летал, и во сне; ему даже однажды, почти в самом конце августа, такой дивный сон приснился, какие никогда в жизни не снились: что будто бы вдруг выросли у него на спине крылья, и расправил он их, белые и огромные, как десантные парашюты, да и взлетел на них куда-то высоко-высоко, к самому поднебесью.

И будто бы посмотрел он оттуда вниз — на посёлок, на пересекающую его речку, сильно обмелевшую с тех, уже давних тепер, времён, когда он, Гоша, со своим другом Мишкой руками ловили в ней килограммовых налимов, вытаскивая этих сильных и скользких рыб из их нор под большими валунами; посмотрел на окружавшие посёлок сосновые боры, в которых, стоит только выйти за околицу, и до сих пор, несмотря ни на что, грибов можно было набрать — немерено, если места грибные знаешь (а как их не знать, если и родился здесь, и почти всю свою жизнь прожил?); вот посмотрел будто бы на всё это Гоша из поднебесья — и понял, что ничего другого, кроме как вот это всё, что сейчас под ним там, далеко внизу, проплывает, для него на свете дороже нет. И никогда не будет.

А людей-то сколько он там, внизу, увидел, людей-то! И друзей его давних, и просто знакомых — и старых, и новых, и пожилых, и молодых; вон и мама там, внизу, в огороде копается, грядки пропалывая; и сосед, дядя Федя, опять что-то во дворе у себя мастерит, по ходу дела больную спи-

ну на солнышке грея — то ли опять табуретку какую-то чудную, то ли ещё что... Вон сколько их, людей-то, — боже ж ты мой!

Только Нинки своей Гоша в том сне почему-то не увидел, хотя и очень этого хотел, очень; помнится, тогда же, во сне, подумал, что она, наверно, в магазине сидит да книжку читает, пока покупателей нет. А через крышу-то — как разглядишь?

А на следующее после той ночи утро решил Гоша по пути на работу заскочить к Нинке в магазин — и на Нинку свою (он её так про себя и называл — «моя Нинка») посмотреть и сон ей свой чудный рассказать. Ну, и сигарет заодно купить.

Пришёл он в магазин, а там за прилавком вместо Нинки Людмила Ивановна стоит — Нинкина соседка, которая в этом магазине до выхода на пенсию (как раз перед возвращением Нинки) лет, наверно, двадцать проработала, если не больше; она-то, кстати, Нинку в этот магазин и устроила — вместо себя.

«Может, заболела? — забеспокоился о Нинке Гоша. — Или, не дай бог, ещё что случилось? А может, с матерью её что-нибудь, с тётей Наташей?..»

— А Нинка-то где, тётя Люсь? — забыв поздороваться, спросил он.

— Где, где... — почему-то отводя от Гоши глаза, проворчала Людмила Ивановна. И усмехнулась: — Я вместо неё — аль не нравлюсь?

— Да нравишься, нравишься... — заулыбался было и Гоша. — Так где Нинка-то?

— Нинка, Нинка... — погасила вдруг улыбку Людмила Ивановна; помолчала, перебирая на прилавке какие-то накладные, а потом вскинула на Гошу глаза; посмотрела на него сквозь очки каким-то непонятным — то ли печальным, то ли жалостливым взглядом — и тихо сказала:

— Не работает она здесь больше, Гошенька: уволилась вчера...

— Как — уволилась? — удивился Гоша. — Вроде бы и разговора у нас об этом не было...

— Было, не было... — вздохнула Людмила Ивановна. — Не буду я тебе ничего объяснять, Гошенька, сынок: сама ничего толком не знаю. Из райпо утром прибежали: выручай, мол, Ивановна, а что да почему — не сказали. Так что езжай-

ка ты лучше к ней домой, там и узнаешь. А меня не пытай: не знаю я ничего...

И снова отвела от Гоши жалостливый взгляд...

Предчувствуя недоброе, Гоша выскочил из магазина, тормознул первый попавшийся грузовик и уже минут через пятнадцать переступил порог Нинкиного дома.

— А уехала Нинка ночью — вот и весь сказ! — усадив Гошу на табуретку, сказала Нинкина мать. — Приехал за ней муж её, Серёжка; ворвался как бешеный, не поздоровался даже... Ну, и проговорили они часа два — там, в спальне; я и не слыхала, о чём... Ну, а потом она вещички собрала, меня чмокнула и — фьють! — только я их и видела...

— Какой муж? — изумился Гоша. — Она ж в разводе!

— А ты паспорт-то ейный видел? Это тебе да мне она сказала, что в разводе, а сама-то и не в разводе вовсе: как была замужем, так замужем и осталась...

— А чего ж врала-то мне? — захолопал глазами Гоша. — Врать-то зачем было?

— А думала, что не приедет он, Серёжка-то ейный — ни к ней не приедет, а уж за ней-то — и по-давно! Так там и останется, во Владике-то своём... Но, видно, думать-то — думала, а... надеялась, видать, на что-то... А он, вишь ты, взял да и вправду приехал; явился — не запылвился, да ещё и с билетами на самолёт. Да ещё и на такси с самого Новгорода прикатил; на нём они и обратно уехали, прямо в аэропорт. Вишь ты, богач какой: такси-и, самолё-ёт...

И дальше Гоша узнал то, о чём ни в первую их встречу, когда они с Нинкой полночи просидели на этой же кухне, ни потом Нинка ему так и не рассказала.

По словам тёти Наташи, Нинка с мужем и не разводилась, а просто уехала от него, устав ждать, когда тот устроится на работу; накопила потихоньку от мужа денег на дорогу — и уехала. Детей у них, как Гоша знал, не было: сперва сами заводить не хотели, поскольку без конца маялись по общежитиям да по частным квартирам, а когда — уж к тридцатому Нинкиному дню рождения — всё же купили себе девятиметровую комнатуху в квартире на окраине Владивостока (они к тому времени перебрались туда из Спасск-Дальнего), то вроде бы и задумали ребё-

ночка завести, да Бог уж не дал. А может, потому у них с ребёночком не получилось, что не раз Нинка, приплясывая возле своего лотка на городском рынке, где она торговала, работая на одну ушлую разбитную бабёнку, промерзала до костей от яростно дувшего с побережья жгучего тихоокеанского ветра. И простужалась сильно, но на работу всё равно ходила, даже с температурой; а как не пойдёшь, когда на твоё место уже очередь стоит? А уж про «больничный» у них на рынке никто из таких, как Нинка, и не заикался никогда: попробуй только заикнись — враз с работы вылетишь... И — гуляй себе, Вася! А жить тогда на что, если муж дома сидит?

А муж у Нинки потому дома сидел, что прежняя шарашкина контора, для которой он крабов в Японском море ловил, попала на браконьерстве, и её, контору эту, само собой, быстренько прикрыли. Начальство же её вместе со всеми документами — в том числе и с паспортами работавших в этой шараге рыбаков — куда-то так же быстренько и по-тихому смылось, даже не рассчитавшись со своими работниками. А куда тебя без паспорта возьмут? Пока он, Нинкин муж, паспорт восстановил, пока работу искал, путина закончилась, и работу вообще стало не найти. Уж ходил он, ходил по разным конторам, да всё без толку...

Правда, однажды встретил Нинкин муж одного из своих бывших, ещё по военному флоту, сослуживцев, и тот пообещал работу ему найти — на торговом судне, где он сам старпомом был. Дескать, служили вместе — вместе и в «загранку» ходить будем. И работа, мол, хорошая, интересная, и деньги хорошие платят. Только подождать просил, пока он из плавания вернется: они как раз в тот день, когда его Нинкин муж встретил, в плавание уходили, далеко куда-то. Однако время шло себе и шло, а друг этот всё не возвращался и не возвращался. Месяцев уж семь или восемь прошло после их разговора, а муж всё друга своего ждал, дома на диване сидючи. Ну, и выпивать стал время от времени, от безделья-то. Вот и начались у них в семье споры-раздоры да взаимные упрёки. В конце концов, Нинка плюнула на всё, поднакопила денег да и уехала домой, к матери, оставив своего мужа ждать у моря погоды. А друг-то мужнин, вишь ты, не обманул...

— А чего ж он, друг-то этот, так долго не возвращался-то? — спросил Гоша.

— Да корабль ихний, как Серёжка-то давеча рассказал, в ураган где-то попал, аж где-то возле Африки. Ну, и потрепало их сильно: винты вроде поломало, ещё чего-то там... уж и не знаю, не могу сказать. Они там же, в Африке-то, и на ремонт где-то встали да ремонтировались долго, чуть ли не полгода, а потом вроде как сколько-то ещё месяцев ждали, покуда ихняя компания деньги за ремонт перечислит... Да пока назад отудова плыли; путь-то, Гошенька, сам понимаешь, не близкий: эн она где, Африка-то!..

Вышел Гоша на крыльцо Нинкиного дома, постоял, опустошённый, с минуту, глядя поверх покосившегося, поросшего мхом деревянного забора на залитую солнцем улицу и вздохнул.

«Нету Мишки — и забор поправить некому, — подумал он. — Был Мишка — и забор стоял как надо; а не стало Мишки — вот и все пироги!..»

У себя-то, вокруг своего дома, Гоша за это, трезвое, лето и забор отремонтировал как надо (а ведь такой же был, как у тёти Наташи сейчас: только на честном слове и держался), и палисадник, о котором его давно мать просила, перед домом сделал из нового штакетника. Мишка-то, когда жив был, ещё кое-как за хозяйством приглядывал; хоть и на одной ноге, а иногда чего-то и делал — правда, только тогда, когда они с Гошей не квасили. А квасили они — у-у! Можно сказать, что только и делали, что квасили — по любому поводу. И без повода...

Гоша почесал затылок, прикидывая объём работы, потом обернулся и крикнул в открытую дверь:

— Тёть Наташ! Забор-то, гляди, — завалится скоро!

— Ау, брат, — отозвалась с кухни Нинкина мать. — Знамо, завалится; дак кому ж его поправлять-то? Некому теперь...

— Приду в воскресенье, поправлю, — крикнул Гоша. — Инструмент-то у тебя есть какой?

— Да есть, есть; от Миши много чего осталось — там, в сарае. Хошь, так сходи, глянь, чего там есть...

Гоша посмотрел на наручные часы и заторопился.

— Некогда мне сейчас — на работу надо: я и так уж... А в воскресенье приеду. На машине. И

инструмент свой привезу: где я там Мишкин буду искать? Пусть себе лежит... Жди с утра, часикам к восьми...

— Ох, спасибо тебе, сынок! — обрадовалась тётя Наташа, выходя на крыльцо. — Дай тебе Бог здоровья!

— Да ладно... — махнул рукой Гоша. — Чё мне, трудно, что ль...

Тётя Наташа помялась, видимо, не зная, как посочувствовать Гошиному горю, а потом тихо сказала:

— Ты уж, сынок, зла-то на Нинку не держи: кто ж знал, что этот-то... мужик-то ейный... заявится... Знать, не судьба вам с ней...

— Всё, тётя Наташ! — оборвал её Гоша. — Молчи! И так... кошки скребут...

И сбежал с крыльца. У ладитки обернулся.

— Ну, так жди: в воскресенье подъеду, — сказал он. — Часикам к восьми. А потом и на кладбище съездим, к Мишке...

И заторопился прочь...

Вечером, возвращаясь с работы (да какая уж там работа была! Всё у него в этот день из рук валилось...), Гоша зашёл в магазин, но не в тот, где ещё только вчера Нинка работала, а в другой, хотя и пришлось для этого сделать изрядный крик, и купил бутылку водки.

«Приду сейчас домой и... и буду поминки справлять, — думал он, торопливо (так ему вдруг поскорее выпить захотелось!) шагая к дому. — По нашей с Нинкой несостоявшейся семейной жизни... Вот нажрусь в доску — и гори оно всё синим пламенем! И Нинка, и всё... Может, ещё бутылку прихватить? А то вдруг одной мало будет...»

Войдя в дом, Гоша поставил бутылку посреди не стола на кухне; потянулся было к буфету за стаканом, однако передумал.

«Руки сперва надо помыть, — решил он. — Вон, в нигроле все; воняют как... Ну, Самохин, ну, гад! Солярки пожалел... У самого целая бочка на складе, а он — нету, нету! Жмот сивый...»

Мать, увидев бутылку, не сказала ни слова; только тяжело вздохнула и ушла в свою спальню.

«Видно, знает уже... — подумал Гоша и горько усмехнулся. — Видно, насвистели уже товарки...»

Пока он руки щёткой со стиральным порошком оттирал, пока лицо ополаскивал да пока

потом переодевался в чистое — всё на бутылку посматривал; с нетерпением посматривал, даже с вождением, уже порядочно им подзабытым. Когда же все дела свои наконец справил, ему вдруг курить захотелось — ну просто жуть! Вышел он во двор, сел на завалинку и закурил. И задумался.

«Эх, Нинка, Нинка! — думал Гоша, часто и глубоко затягиваясь сигаретным дымом и не ощущая его вкуса. — Как она меня, а?! Как пацана?... Поигралась, потешилась, да и... А я-то, дурак! Эх!.. А теперь-то — что? Теперь-то — как? Как мне теперь жить-то — как прежде?..»

Мало-помалу успокоившись, но продолжая лелеять свою обиду на Нинку и жалеть себя, Гоша вернулся в дом и сел к столу; сидел, глядя на водку, вздохнул тяжело и потянулся к бутылке. И даже в руки её взял, чтобы открыть, но передумал и поставил обратно.

«Да что я, алкаш — одному-то пить? — подумал он. — И не с похмелья, чтоб в одиночку-то. Вот завтра — да: завтра с похмелья башка трещать будет — только держись! Вот тогда и одному можно; и одному-то лишь бы хватило, похмелиться-то... А так-то — что?»

Но к кому сходить, с кем составить компанию, чтобы печаль-тоску развеять, придумать Гоша, как ни старался, почему-то так и не смог. А покуда перебирал в памяти своих дружков-приятелей, живущих поблизости, пить ему почему-то и вовсе расхотелось.

Да и забор он обещал тётя Наташе послезавтра, в воскресенье, поправить. А там, глядишь, и картошку копать время подойдёт; кто ей, кроме него, Гоши, поможет-то? Мужиков ей, что ли, за бутылку нанимать? Так там одной бутылкой не отделаешься... А на какие такие шиши она водку-то покупать для них будет — с пенсии своей? То-то!

И когда ж тут ему, Гоше, пить, горе своё заливая? Выходит, что и некогда...

И вот о чём Гоше подумалось: а что, собственно говоря, уж такого страшного случилось-то? Что, жизнь для него после бегства Нинки кончилась, что ли? Так вроде нет: вот он, Гоша Чудаков, сидит себе за столом — живой, нормальный и... трезвый. И вроде как трезвому-то ему как-то даже и лучше, чем пьяному, — и сейчас, и вообще. И вообще, за эти почти три месяца, что он с

Нинкой пробыл (или, лучше сказать, Нинка у него была), как-то по-другому у него всё стало — и дома, и на работе. И вообще. А главное — в душе по-другому стало: светлее там стало, чище; будто подмёл кто её, душу, пыль да всякий прочий мусор из неё вымел, да ещё и тряпочкой протёр — так, как матушка запотевшие очки протирает; протёрла стёклышки — и видит всё вокруг себя по-другому: и ясней, и чётче. А запачкаются стёклышки или снова запотеют — и опять ничего через них не видать, муть одна; это как трезвому человеку глаза водкой залить — ну точь-в-точь!

И вдруг припомнился Гоше вчерашний — или сегодняшней? — сон: как летал он над посёлком, что видел под собой и как всему этому — и тому, что летал, и тому, что видел с высоты, — радовался; Гоша даже глаза прикрыл, чтобы всё это ещё раз увидеть и почувствовать.

И у него получилось...

Он открыл глаза и вздохнул:

— Эх, Нинка, Нинка! Вот невезуха-то...

И снова задумался.

А что — Нинка? Да, бросила она его; даже можно сказать — предала; обидно всё это, слов нет, но... Но и — и это было для Гоши весьма неожиданно — и благодарность к ней он вдруг почувствовал, а не злобу, какая у него первоначально, сразу после Нинкиного бегства, была. За что благодарна? Да за то, что Нинка — сама, наверно, того не ведая — будто бы глаза Гоше на этот мир открыла — на тот мир, в котором он вроде бы всю свою жизнь прожил, а по-настоящему этого мира так и не видел, пока с ней не встретился: а как его увидишь — осололевшими-то глазами? Ведь

как вернулся Гоша двадцать лет назад из Афгана, так, почитай, все эти годы чуть ли не каждый день и гудел с дружками-приятелями почём зря: первое время всё друзей своих погибших поминал, а после втянулся в это дело — и пошло-поехало... Он и подружек-то всех своих бывших, кои у него по молодости были, за эти годы порастерял, а жениться и не пытался даже — всё думал, что рано ещё, что погулять ещё надо. Вот и догулялся до того, что никому не нужен стал. А Нинка...

— Эх, Нинка, Нинка! — снова вздохнул Гоша и вдруг улыбнулся. — Ну, Бог тебе судья, Нинка; а я зла не держу...

Он вышел на крыльцо и снова закурил; постоил, по-хозяйски оглядывая двор, и вдруг подумал, что надо бы мать в лес свозить: давно она в лес съездить хотела — самой-то теперь и не дойти, — да Гоше всё как-то недосуг было; он и сам-то сколько уж лет в лесу не был — ни за грибами, ни просто так: то водку с дружками пил, а потом вот... за Нинку зацепился... А теперь-то — чего ж не съездить? Самое время и ехать: август кончается, а потом и вовсе поздно будет — отойдут грибы, вот и все дела? И будет тебе невезуха...

Он бросил окурочек и придавил его кроссовкой; посмотрел, прищурившись, на безоблачный закат и подумал:

«Завтра, видать, ведро будет. Ну, и славно: самое время по грибы-то...»

Потоптался во дворе ещё с минуту, улыбнулся чему-то, а потом крикнул в открытое окно кухни:

— Мам, готовь лукошки! Завтра в лес поедем...

□

Александр Петрович КАЗАКОВ

родился в 1954 г. в Смоленске.

Автор рассказов, повестей, романов.

Публиковался в журналах «Всерусский соборъ» (С.-Пб),

«Родная Ладога», «Сибирские огни» (Новосибирск),

«Московский Парнас» (Москва), «Север» и других.

За книгу «Пройти полмира...» (сборник рассказов и повестей)

получил звание лауреата премии

администрации Псковской области в области литературы.

Член Союза писателей России.

Живет в Пскове.

